

Вероника
ТУШНОВА

Не отрекаются любя



Вероника Тушнова Не отрекаются любя (сборник)

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3937845
Тушнова В. М. Не отрекаются любя: Эксмо; Москва; 2012
ISBN 978-5-699-57894-8*

Аннотация

Вероника Тушнова (1915–1965) – известная поэтесса, участница Великой Отечественной войны, создавшая известные всем и любимые многими стихотворения «Не отрекаются любя», «А знаешь, все еще будет!» и многие другие. Поэзия Вероники Тушновой проникнута добром и теплотой, искренностью, неподдельностью чувств, благодарной любовью ко всему, что даровано судьбою. Ее поэзия мудра, светла и чиста, и это навсегда покорило читателей и слушателей песен, написанных на стихи поэта. В книге представлена наиболее полная подборка стихотворений, включены переводы, часть стихотворений публикуется впервые.

Содержание

О поэзии[1]	5
Стихотворения	8
Голуби	8
Стихи о гудке	9
Весло	11
Капитаны	12
Старый дом	14
Мещанские цветы	15
* * *	16
Чудеса	17
Котенок	19
Чиж	20
* * *	21
* * *	22
* * *	23
Ночь	24
* * *	25
Тропинка	26
* * *	27
* * *	28
Сон	29
* * *	30
* * *	31
Прощанье	32
* * *	33
* * *	34
Звуки дома	36
Ночная тревога	37
Кукла	38
В Кудинове	39
Яблоки	40
Ночь	41
* * *	43
* * *	44
Дорога	45
Разлука	46
I	46
II	46
Осень	47
Мать	48
Хирург	50
Письмо	51
* * *	52
* * *	53
* * *	54
Стихи о дочери	55

I	55
II	56
III	56
IV	56
V	57
VI	58
VII	58
Салют	60
Беженец	61
Городок	62
В лесу	63
Птица	64
Костер	65
Домой	66
* * *	67
* * *	68
Станция Баладжары	69
Прибой	70
Бессонница	71
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Вероника Тушнова

Не отрекаются любя

О поэзии¹

Меня часто спрашивают: «А когда вы начали писать стихи?» И мне всегда бывает трудно ответить на этот вопрос. Что понимать под словами «писать стихи»? Складывать фразы в правильно чередующиеся, зарифмованные строки и строфы? Если так, то я начала писать в самом раннем детстве, лет в шесть-семь...

...Солнышко светит и греет,
птичек слышны голоса...

Стихи у меня получались такими же гладкими и аккуратными, как многие из тех, которые я читала в детских книжках. И слова в них те же, и писать их было очень просто и легко. Я иногда брала тетрадку и говорила себе: а теперь я запишу про зиму. А теперь про весну. И это всегда удавалось.

Своим умением писать стихи я гордилась, но мысль о том, что, став взрослой, я буду продолжать это увлекательное, но отнюдь не серьезное занятие, мне и в голову не приходила. Повторяю – писать мне было очень легко.

Но вот однажды пропал без вести престарелый черный кот Буська, и мне захотелось увековечить в стихах это печальное событие. К своему немалому удивлению, я вдруг поняла, что написать об этом гораздо труднее, чем о зиме, весне или ручейке. И вполне понятно: ведь никто до меня не писал об этом. Никто, кроме меня, не знал нашего грузного, облезлого кота, его привычки спать в печке, его хриплого мяуканья, разорванного уха, манеру, вставая, толкать лбом в колени.

В данном случае я уже не могла пользоваться чужими и удобными и красивыми словами. Приходилось придумывать свои. Кроме того, мне было жалко кота и хотелось, чтобы другие пожалели его тоже. Все это налагало ответственность.

Я писала долго, и стихи получились гораздо хуже, чем обычно. Зато впервые в жизни закралось в меня подозрение, что все «сочиненное» мной ранее – совсем не хорошо и гордиться этим, пожалуй, не стоит. Во всяком случае, читать прежние стихи вслух мне было неловко и стыдно. С тех пор я начала прятать свои тетрадки подальше от посторонних глаз.

Было бы неверно сказать, что с этой минуты я стала поэтом. Сколько раз я еще поддавалась соблазну сложить стихотворение из чужих гладеньких и так хорошо, впритирку лежащихся кирпичиков.

Я была школьницей старших классов, когда ощутила необходимость написать замечательные стихи о любви. Только несколько лет спустя я смогла оценить действительные размеры постигшей меня неудачи. Стихи-то опять были не мои! Их наполняли грезы, слезы, луна, страдания. В них были удачные рифмы и редко-редко проскальзывала живая строка, согретая живым и подлинным чувством. И о любви, и о страданиях я писала чисто отвлеченно, а поэзия этого не прощает.

Впоследствии, испытав и любовь, и горе, и разочарование и написав об этом стихи – в достаточной мере теплые и сердечные, я снова огорчилась: несмотря на «свои» слова, «свою» интонацию – это были все-таки неудачные стихи. В них говорилось о чувствах и

¹ Публикуемая статья хранится в архиве В. Тушновой под названием «Молодым – о поэзии».

переживаниях, сотни раз описанных до меня, и ничего нового нельзя было в этих стихах обнаружить. В них не было мыслей. А ведь мысль – это тот стержень, на котором держится все стихотворение.

Не надо понимать этого примитивно. Мысль не должна назойливо выпирать из каждой строки, иногда в хороших стихах на первый взгляд она вообще отсутствует. Но это только на первый взгляд. Мысль существует, как говорится, в «подтексте». Читатель настолько проникается настроением, мироощущением автора, что сам делает необходимый и единственно возможный вывод, то есть мысль рождается за пределами стихотворения, и читатель становится как бы соавтором поэта. И такого рода поэзия, где автор щедро делится с читателем правом и радостью открытия, для нас очень дорога. Поэт как бы посылает читателя: иди вот этой тропинкой! А сам отлично знает, куда эта тропинка приведет.

Это не значит, что мысль не может быть выражена в стихотворении вполне открыто, в виде афоризма, заключенного в одной-двух строках. Существуют отличные стихи и такого рода. Одно только недопустимо – это чтобы мысль была назойлива, чтобы она насильственно навязывалась, чтобы она плавала на поверхности, а не вытекала органически из всей ткани поэтического произведения.

Если нет в стихотворении поэтической мысли, вокруг которой группируются поэтические образы, последние начинают рассыпаться, многие из них при всей своей яркости оказываются лишними, немymi. Нет в таких стихах своего выраженного отношения автора к изображенным фактам и событиям, стихи получаются безыдейными.

Настоящая поэзия не может быть безыдейной. Пейзажные стихи, заставляющие читателя еще раз с еще большей остротой почувствовать, как он любит родные поля и леса, – это глубоко идейные стихи. Стихи, написанные о важнейших стройках, о героических делах, если они написаны не горячим сердцем поэта, а холодной рукой ремесленника, – безыдейны и вредны!

Чувства и мысли – вот что такое стихи. И, конечно, мастерство, потому что оно позволяет полнее и свежее выразить и чувства и мысли.

Так вот, когда я поняла, что опять пишу плохие стихи, я стала придумывать, а что бы такое оригинальное сказать. Надо ли объяснять, что из этого ничего не получилось. Думаю, что по-настоящему я стала писать во время войны.

Я работала в госпитале с утра до ночи и очень редко бралась за карандаш. Но сколько я передумала и перечувствовала за это время! И что самое удивительное, у меня появилось новое, никогда еще не испытанное мною чувство: мне вдруг захотелось, чтобы стихи мои узнали, прочли, мне хотелось своими стихами вмешаться в жизнь, что-то изменить в ней. Я понимала, как это трудно и ответственно, и все-таки эта мысль меня не покидала.

В 1944 году, когда я напечатала свои первые стихи, произошло событие, имевшее для меня громадное значение. В «Комсомольской правде» был опубликован цикл моих стихов под названием «Стихи о дочери». Я написала их действительно о своей маленькой дочке, и они мне казались слишком личными. Но их напечатали, и я была этим обрадована и встречена. Но это не главное.

Главное то, что через некоторое время я стала получать письма со штемпелями полевой почты. Писали их самые разные люди. Были письма, написанные неуклюжим, корявым почерком, со множеством орфографических ошибок (самые для меня дорогие!). Но во всех этих письмах, в тех или иных словах, говорилось одно: «Хорошо, что вы написали о наших детях!» Каким счастьем было для меня читать слово «наших»!

Значит, что же получилось? Я писала стихи о своей девочке, о своей Наташе, а они – бойцы, приславшие мне свои письма, считают, что я писала про их детей! Это была такая удача, о которой я не могла и мечтать.

Думая об этом, на первый взгляд непонятном явлении, я впервые столкнулась с силой поэтического обобщения. Впоследствии я неоднократно получала письма читателей – добрые и сердечные, но ни одно не доставило мне той радости, которую я испытывала, раскрывая треугольные конверты с номерами полевой почты. Как эти незнакомые люди помогли мне на моем творческом пути! Наверное, здесь и надо искать его начало.

Ну, что же сказать еще? Война прошла, а жизнь продолжала течь со всеми своими сложностями, тревогами, противоречиями. Вырастало новое поколение. Я написала много новых стихов – удачных и неудачных, снова и снова убеждаясь, как нелегко создать что-то действительно ценное. Я ни минуты не обольщалась надеждой чему-то научить своих молодых читателей. Мне просто хотелось поделиться с ними своими размышлениями о жизни, воспоминаниями своей юности. Ведь даже у людей разных поколений есть много общего и дорогого.

И еще мне хотелось бы, чтобы это молодое поколение полюбило поэзию, чтобы оно видело в стихах не ряды зарифмованных строк, а живое сердце человека, в котором эти строки родились.

Вероника Тушнова

Стихотворения

Голуби

Тусклый луч блестит на олове,
мокрых вмятинах ковша...
Чуть поваркивают голуби,
белым веером шурша.
Запрокидывают голову,
брызжут солнечной водой,
бродят взад-вперед по желобу
тропкой скользкой и крутой.
Бродят сонные и важные,
грудки выгнуты в дугу,
и блестят глаза их влажные,
как брусника на снегу.
Сад поник под зноем парящим,
небо – синьки голубей...
– Ты возьми меня в товарищи,
дай потрогать голубей. —
Верно, день тот был удачливым —
ты ответил: – Ладно, лезь... —
Дребезжать ступеньки начали,
загремела гулко жесть...
Мне расти мальчишкой надо бы —
у мальчишек больше льгот...
А на крыше – пекло адово,
сквозь подошвы ноги жжет.
Целый час с тобой стояли мы
(неужели наяву?),
птицы в небо шли спиралями,
упирались в синеву...
Воркованье голубиное,
смятый ковш, в ковше – вода...
А часы-то в детстве длинные —
и такие же года.
Кто их знал, что так прокатятся,
птичьей стайкой отсверкав...
Я ли это – в белом платице,
с белым голубем в руках?

Стихи о гудке

Я с детства любила гудки на реке,
я вечно толклась у причала,
я все пароходы
еще вдалеке
по их голосам различала.
Мы часто таким пустяком дорожим,
затем что он с детства привычен.
Мне новый гудок показался чужим,
он был бессердечен и зычен.
И я огорчилась,
хотя я сюда
вернулась, заведомо зная,
что время иное, иные суда
и Волга-то, в общем, иная.
А все-таки он представлялся в мечте,
как прежде, густым, басовитым...
Мы вышли из шлюзов уже в темноте
и двинулись морем открытым.
Я не узнавала родные места,
где помнила каждую малость.
В безбрежности
пепельных вод широта
с темнеющим небом сливалась.
Рвал ветер низовый
волну на клочки,
скитался равниною пенной,
и только мигали в ночи маячки,
как звездочки в безднах вселенной.
Барометр падал,
и ветер крепчал,
зарница вдали полыхала,
и вдруг нелюбимый гудок закричал,
и вдруг я его услышала.
С чего же взяла я? Он вовсе не груб,
он речью своей безыскусной
похож на звучанье серебряных труб,
пронзительный, гордый и грустный...
Он, как тетива, трепетал над водой,
под стать поражающей шири,
такой необычный, такой молодой,
еще не обвыкшийся в мире.
И так покоряло его торжество,
его несвершенности сила,
что я не могла не влюбиться в него
и прежней любви изменила.

И нет сожаленья о прошлом во мне,
в неверности этой не каюсь...
Что делать – живу я
в сегодняшнем дне
и в завтрашнем жить
собираюсь!

Весло

Балалайка бренчала,
песни пела весна.
Прибежала я к причалу,
принесла два весла.
Мы с тобою плыли Волгой,
луговой стороной,
древесиной пахло волглой,
мгла легла пеленой.
Проглядела я излучину,
что лозой заросла,
утопила я уключину,
не сдержала весла.
Ты бранил меня недолго.
Тишина. Темнота.
Нас укачивала Волга,
шурша о борта.
Мы зажгли плавник наносный,
руки грели в золе.
Было холодно и звездно
на весенней заре.
Много было, да уплыло,
как по волнам весло,
было, было, много было,
да быльем поросло!

Капитаны

Не ведется в доме разговоров
про давно минувшие дела,
желтый снимок – пароход «Суворов» —
выцветает в ящике стола.
Попытаюсь все-таки взглядеться
пристальней в туман минувших лет,
увидать далекий город детства,
где родились мой отец и дед.
Утро шло и мглою к горлу липло,
салом шелестело по бортам...
Кашлял продолжительно и хрипло
досиня багровый капитан.
Докурив, в карманы руки прятал
и в белесом мареве зари
всматривался в узенький фарватер
Волги, обмелевшей у Твери.
И возникал перед глазами
причал на стынувшей воде
и домик в городе Казани,
в Адмиралтейской слободе.
Судьбу бродяжью проклиная,
он ждет – скорей бы ледостав...
Но сам не свой в начале мая,
когда вода растет в кустах
и подступает к трем оконцам
в густых гераневых огнях,
и, ослепленный мир обняв,
весь день роскошествует солнцу;
когда прозрачен лед небес,
а лед земной тяжел и порист,
и в синем пламени по пояс
бредет красно-лиловый лес...
Горчащий дух набрякших почек,
колючий, клейкий, спиртовой,
и запах просмоленных бочек
и дегтя... и десятки прочих
тяжеловесною волной
текут с причалов, с неба, с Волги,
туманя кровь, сбивая с ног,
и в мир вторгается свисток —
привычный, хрипловатый, долгий...
Волны медлительный разбег
на камни расстилает пену,
и осточертевают стены,
и дом бросает человек...

С трехлетним черноглазым сыном
стоит на берегу жена...
Даль будто бы растворена,
расплавлена в сиянье синем.
Гремят булыжником ободья
тяжелых кованых телег...
А пароход – как первый снег,
как лебедь в блеске половодья...
Пар вырывается, свистя,
лениво шлепаются плицы...
...Почти полсотни лет спустя
такое утро сыну снится.
Проснувшись, он к рулю идет,
не видя волн беспечной пляски,
и вниз уводит пароход
защитной, пасмурной окраски.
Бегут домишки по пятам,
и, бакен огибая круто,
отцовский домик капитан
как будто видит на минуту.
Но со штурвала своего
потом уже не сводит взгляда,
и на ресницах у него
тяжелый пепел Сталинграда.

Старый дом

Сколько раз я мечтала
в долгой жизни своей
постоять, как бывало,
возле этих дверей.
В эти стены взглядеться,
в этот тополь сухой,
отыскать свое детство
за чердачной стрехой.
Но стою и не верю
многолетней мечте:
просто двери как двери.
Неужели же те?
Просто чье-то жилище,
старый розовый дом.
Больше, лучше и чище
то, что знаю о нем.
Вот ведь что оказалось:
на родной стороне
ничего не осталось, —
все со мной и во мне.
Зря стою я у окон
в тихой улочке той:
дом — покинутый кокон,
дом — навеки пустой.

Мещанские цветы

Не понимаю, в чем они повинны,
Все эти розовые бальзамины
И фуксии с подвесками атласными
Пунцово-белыми, лилово-красными.

Едва увижу их, перед глазами
Старинный пыльный пригород Казани,
Дом в три окошка, где отец мой рос,
А в окнах – шапки огненной герани.
(В слободке не выращивали роз.)

Я представляю крошечное зальце
С великолепным фикусом в углу.
Врастяжку дремлют солнечные зайцы
На выкрашенном охрою полу.

Перед диваном столик несуразный,
Трюмо, как будто в ряске озерцо...
У женщины худой и черноглазой
Надменное от горестей лицо.

Заштопанные бережно скатерки,
Дешевый голубой сервизик в горке
И чистота – до блеска, до сиянья,
Единственная роскошь бедноты.
А вот цветы – всех смертных достоянье...

Да, я люблю мещанские цветы,
Я без кавычек ставлю это слово
В его первоначальном смысле, в том,
Что люди жили тяжело и сурово,
А труд во все эпохи был трудом.

...Цветы цвели смиренно, безотказно,
В подвалах и на чердаках цвели,
В кастрюльках ржавых,
В банках безобразных,
Цвели – благословение земли.

Теперь, когда конец домишкам тесным
И все иначе, именно теперь,
Мне кажется особенно нечестным
Взять и захлопнуть перед ними дверь.

* * *

Нынче детство мне явилось,
приласкало на лету.
Свежим снегом я умылась,
постояла на ветру.
Надышалась, нагладелась, —
ну какая красота!
Дня бессолнечного белость,
далее хвойная черта...
Снежно-снежно.
Тихо-тихо.
Звон в ушах — такая тишь.
В темных сенцах пахнет пихтой,
у порога — пара лыж.
Пара струганых дощечек,
самоделье детских рук.
Сколько вещей и не вещей
снов скитается вокруг...
Где таилось,
где хранилось?
Вдруг припомнил человек:
хлебным квасом пахнет силос,
спелой клюквой пахнет снег.

Чудеса

Как ни покажется это нелепо вам,
но едва разгоралась заря малиново,
я просыпалась от
великолепного,
важного, грозного рыка
львиного.
Ржавый тополь шумел
у окна открытого.
Высыхало... Теплело... Тянуло чадом...
Всех готова жалеть я,
кто не испытывал
величайшего счастья —
жить с цирком рядом.
Просыпаться и тотчас, не тронув чая,
обманувши бдительность домочадцев,
к сердцу хлеб похищенный прижимая,
к заветному лазу в заборе
мчаться!
Я помню, мама диву давалась —
куда столько хлеба у нас девалось?
Ведь жили тогда мы
в приволжском городе,
еще не успевшем забыть о голоде.
Но я ни о чем не думала, кроме
восхитительной дружбы
слоненка Томми.
Я вдыхала чудесный запах конюшен,
запах опилок, острый и свежий,
двери были раскрыты, огонь потушен,
шли репетиции на манеже.
Меня давно гонять перестали,
чередой привычной текла работа,
трико стеклярусом не блистали,
они темнели от пятен пота.
Я часами не отрываясь глядела,
с какой беспощадностью и упорством
эти люди себе подчиняли тело,
чтобы трудное стало легко и просто.
Я часами не отрываясь глядела,
как размеренно-ровно качалась лестница,
как в десятый и в сотый
четко и смело,
как пружинка,
взлетала моя ровесница.
Изредка меня родители брали

на вечернее представление.
Бодро марши гремели,
трико сверкали
в непривычно-торжественном отдалении.
И хотя я помнила, как им трудно —
друзьям моим — давалась удача,
все равно мне казалось
все это чудом,
да и нынче
не думаю я иначе.
И нынче я, вспоминая о многом,
радуюсь,
что когда-то в детстве
дни свои проводила в цирке убогом,
с чудесами такими в соседстве.

Котенок

Котенок был некрасив и худ,
сумбурной пестрой раскраски.
Но в нашем семействе обрел уют,
избыток еды и ласки.
И хотя у котенка вместо хвоста
нечто вроде обрубка было,
котенок был —
сама доброта,
простодушный, веселый, милый...
Увы! Он казался мне так нелеп,
по-кроличьи куцый, приткий...
Мне только что минуло восемь лет,
и я обожала открытки.
Я решила: кто-нибудь подберет,
другой хозяин найдется,
я в траву посадила
у чьих-то ворот
маленького уродца.
Он воспринял предательство как игру:
проводил доверчивым взглядом

и помчался восторженно по двору,
забавно брыкая задом.
Повторяю — он был некрасив и тощ,
его я жалела мало.
Но к ночи начал накрапывать дождь,
в небе загромыхало...
Я не хотела ни спать, ни есть —
мерещился мне котенок,
голодный, продрогший, промокший весь
среди дождливых потемок.
Никто из домашних не мог понять
причины горя такого...
Меня утешали отец и мать:
— Отыщем... возьмем другого... —
Другой был с большим пушистым хвостом,
образец красоты и силы.
Он был хорошим, добрым котом,
но я его не любила.

Чиж

Я зерна сыпала чижу
и воду в блюдце наливала.
Мне было... Сколько – не скажу, —
я до окна не доставала.

Я подставляла, помню, стул,
чижу просовывала ветку,
а чтобы вечером уснул,
платком завешивала клетку.

Суббота. Чистые полы.
Басы далеких колоколен.
И стекла празднично светлы.
А чиж молчит, угрюм и болен.

Закат ползет по скатам крыш;
звения, о стекла бьется муха...
В моих ладонях мертвый чиж,
не птица, нет, – комочек пуха.

И не доступная уму
тоска, сжимающая горло...
Сама не знаю почему,
но время этого не стерло.

Я помню: приоткрыла дверь,
и луч дрожит на этой двери...
Мне только, может быть, теперь
понятной стала та потеря.

* * *

У каждого есть в жизни хоть одно,
свое, совсем особенное место.
Припомнишь двор какой-нибудь, окно,
и сразу в сердце возникает детство.

Вот у меня: горячий косогор,
в ромашках весь и весь пропахший пылью,
и бабочки. Я помню до сих пор
коричневые с крапинками крылья.

У них полет изменчив и лукав,
но от погони я не уставала —
догнать, поймать во что бы то ни стало,
схватить ее, держать ее в руках!

Не стало детства. Жизнь суровей, строже.
А все-таки мечта моя жива:
изменчивые, яркие слова
мне кажутся на бабочек похожи.

Я до рассвета по ночам не сплю,
я, может быть, еще упрямей стала —
поймать, схватить во что бы то ни стало!
И вот я их, как бабочек, ловлю.

И с каждым разом убеждаюсь снова
я в тщетности стремленья своего —
с пылью стертой, тускло и мертво
лежит в ладонях радужное слово.

* * *

Еще шуршат, звенят и шепчут капли,
с листвы катясь в пахучую траву.
И каждый звук в молчанье сада вкраплен,
как зерна звезд в ночную синеву.

Перед окном черемух горьких чащи,
как будто вниз упали облака.
На этот мир цветущий и звенящий
я не могу смотреть издалека.

Мне мало звезд – десятков, сотен, тысяч.
Моя тоска тревожна и остра.
Я так хочу хотя бы искру высечь
для твоего неяркого костра.

Далекие лучистые кристаллы.
Холодные небесные огни.
Мне мало звезд, мне лучших песен мало,
когда не мною созданы они.

* * *

Резкие гудки автомобиля,
сердца замирающий полет.
В облаках белесой крымской пыли
прячется неожиданный поворот.

Полны звона выжженные травы.
Ветром с губ уносятся слова.
Слева склоны, склоны, а направо —
моря сморщенная синева.

Ветер все прохладнее. Все ближе
дальних гор скалистое кольцо.
Я еще до сумерек увижу
ваше загорелое лицо.

Но когда б в моей то было власти,
вечно путь я длила б, оттого
что минуты приближенья к счастью
много лучше счастья самого.

Ночь

Ночь, как быть мне и как рассчитаться с тобою
за холодный закат, за асфальт голубой,
за огни, за твое колдовство молодое
над речной, смоляной, шелестящей водой?

Набегающий дождь, фонари и скольжение
маслянистых разводов по руслу реки...
Ты пришла, как внезапное опровержение
всех сомнений моих, всей тоске вопреки.

Глухо плещет вода о бетонное ложе.
Дождь рванулся по крышам. Уныло, темно...
Да... И все-таки так ты на счастье похожа,
что мне кажется – может быть, это оно.

* * *

Да, ты мой сон. Ты выдумка моя.
Зачем же ты приходишь ежечасно,
глядишь в глаза и мучаешь меня,
как будто я над выдумкой не властна?

Я позабыла все твои слова,
твои черты и годы ожидания.
Забыла все. И все-таки жива
та теплота, которой нет названья.

Она, как зноя ровная струя,
живет во мне. И как мне быть иною?
Ведь если ты и выдумка моя —
моя любовь не выдумана мною.

Тропинка

Ночами такая стоит тишина,
стеклянная, хрупкая, ломкая.
Очерчена радужным кругом луна,
и поле дымится поземкою.

Ночами такое молчанье кругом,
что слово доносится всякое,
и скрипы калиток, и как за бугром
у проруби ведрами звякают.

Послушать, и кажется: где-то звучит
железная разноголосица.
А это все сердце стучит и стучит —
незрячее сердце колотится.

Тропинка ныряет в пыли голубой,
в глухом полыхании месяца.
Пойти по тропинке — и можно с тобой,
наверное, где-нибудь встретиться.

* * *

И знаю все, и ничего не знаю...
И не пойму, чего Русская классика же хочешь ты,
с чужого сердца с болью отдирая
налегших лет тяжелые пласты.

Трещат и рвутся спутанные корни.
И вот, не двигаясь и не дыша,
лежит в ладонях, голубя покорней,
тобою обнаженная душа.

Тебе позволена любая прихоть.
Но быть душе забавою не след.
И раз ты взял ее, так посмотри хоть
в ее глаза, в ее тепло и свет.

* * *

Помню празднество ветра и солнца,
эти лучшие наши часы,
и ромашек медовые донца,
побелевшие от росы.

Помню ржавые мокрые листья
в полусвете угасшего дня.
Горьких ягод озябшие кисти
ты с рябины срывал для меня.

Помню, снежные тучи повисли,
их кружила седая вода.
Все улыбки, и слезы, и мысли
я тебе отдавала тогда.

Я любила и холод вокзала,
и огней исчезающий след...
Я, должно быть, тогда еще знала —
так рождается песня на свет.

Сон

Мне все это снилось еще накануне,
в летящем вагоне, где дуло в окно...
Мне виделся город в дыму полнолуния,
совсем незнакомый, любимый давно.
Куда-то я шла переулком мощеным,
в каком-то дворе очутилась потом,
с наружной лестницей
и освещенным
зеленою лампой
чердачным окном.
И дворик, и облик старинного дома —
все было пугающе, страшно знакомо,
и, что-то чудесное вспомнить спеша,
во мне холодела от счастья душа.
А может, все было не так, а иначе,
забыто, придумано...
Будем честны:
что может быть неблагодарней задачи
невнятно и длинно рассказывать сны?
Коснись — и от сна отлетает дыхание,
с мерцающих крыльев слетает пыльца.

И — где оно, где оно? — то полыханье,
которое в снах озаряет сердца?

Но жизнь мне послала нежданную помощь:
я все отыскала — и город, и полночь,
и лестницу ту, и окошко в стене...
Мне память твердила: теперь-то ты помнишь?
А мне все казалось, что это во сне.

* * *

Всплески мерные
за бортами,
посвист свежего ветерка,
смутно дизелей бормотанье
долетает изглубока.
Берега обступают тесно
темным ельником и сосной,
удивительны и прелестны
тишиною своей лесной.
После долгих просторов моря,
где и берега не видать,
очень ласковы
эти взгорья,
сел прибрежная благодать.
И на нашем пути пройденном
представляется это мне
часом праздничным,
проведенным
с кем-то близким
наедине.

* * *

В альбомчике школьном снимки:
Сосны. Снега. Стога.
В рыже-лиловой дымке
давние берега.
Все, что тогда любила, —
выцвело, отошло.
Помнится только – было.
Ну, было – и хорошо!
Вечером на закате,
в особый июньский день,
девочки в белых платьях
в школу несут сирень.
Прошрое на закате
солнцем озарено.
Девочки в белом платье
нет на земле давно.
Это не боль, не зависть, —
юности милой вослед
смотрит не отрываясь
женщина средних лет.
Давнее теплое счастье
мимо нее прошло.
Кивнуло ей, усмехнулось
и скрылось... И хорошо!
И хорошо, что годы
изменчивы, как река.
Новые повороты,
новые берега.

Прощанье

У дебаркадеров лопочет
чернильно-черная вода,
как будто высказаться хочет,
да не умеет – вот беда!
Как будто бы напомнить хочет
о важном, позабытом мной,
и все вздыхает, все бормочет
в осенней теми ледяной.
Мой давний город, город детства
в огнях простерт на берегу.
Он виден мне, а вот взглядеться
в себя, былую, не могу.
Чувств неосвоенная область,
смятенных дум круговорот.
Напрасно старенький автобус
меня на набережной ждет.
Ах, если б не рассудка строгость
и не благоразумья власть!
Но тонко просвистела лёгость,
и связь, как нить, оборвалась.
И вот уже клубит сугробы
и за кормой шумит вода,
и город в ночь уходит, чтобы
не воротиться никогда.
И не сказать, как это грустно,
и взять бы кинуться вослед...
Но жизнь с трудом меняет русло,
когда тебе не двадцать лет.

* * *

Я помню, где-то,
далеко вначале,
наплававшись до дрожи поутру,
на деревенском стареньком причале
сушила я косенки на ветру.

Сливались берега за поворотом,
как два голубо-сизые крыла,
и мне всегда узнать хотелось:
что там?
А там, за ними,
жизнь моя была.

И мерялась, как водится, годами,
и утекали годы, как вода...

Я знаю, что́
за синими горами,
и не хочу заглядывать туда.

* * *

*О память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной...*
К. Батюшков

Память сердца! Память сердца!
Без дороги бродишь ты, —
луч, блуждающий в тумане,
в океане темноты.

Разве можно знать заранее,
что полюбится тебе,
память сердца, память сердца,
в человеческой судьбе?

Может, в городе – крылечко,
может, речка, может, снег,
может, малое словечко,
а в словечке – человек!

Ты захватишь вместо счастья
теплый дождь, долбящий жезл,
пропыленную ромашку
солнцу можешь предпочесть!..

Госпитальные палаты,
костылей унылый скрип...
Отчего-то предпочла ты
взять с собою запах лип.

И теперь всегда он дышит
над июньскою Москвой
той военною тревогой,
незабвенною тоской...

А когда во мгле морозной
красный шар идет на дно —
сердце бьется трудно, грозно,
задыхается оно...

Стук лопаты, комья глины,
и одна осталась я...
Это было в час заката,
в первых числах января.

А когда в ночи весенней

где-то кличет паровоз,
в сердце давнее смятение,
счастье, жгучее до слез!

Память сердца! Память сердца!
Где предел тебе, скажи!
Перед этим озареньем
отступают рубежи.

Звуки дома

Все очень легко и странно,
знакомо и незнакомо.
Я просыпаюсь рано,
слушаю звуки дома:
дрова перед печкою брошены,
брякнул дверной замок,
одна за другой
картошины
падают в чугунок.
Торжественный и спокойный
звук наполняет дом,
словно дальний звон
колокольный:
дон! дон! дон!
Гремит печная заслонка,
трещит береста в огне,
стучат торопливо, ломко
ходики на стене.
Лежу, ни о чем не думая,
слушаю, как легки
старческие, бесшумные,
войлочные шаги.
Страшно пошевелиться мне:
слушаю не дыша —
поскрипывает половицами
дома душа.

Ночная тревога

Знакомый, ненавистный визг...
Как он в ночи тягуч и режущ!
И значит – снова надо вниз,
в неведение бомбоубежищ.

И снова поиски ключа,
и дверь с задвижкой тугою,
и снова тельце у плеча,
обмякшее и дорогое.

Как на́зло, лестница крута, —
скользят по сбитым плитам ноги;
и вот навстречу, на пороге —
бормочущая темнота.

Здесь времени потерян счет,
пространство здесь неощутимо,
как будто жизнь, не глядя, мимо
своей дорогою течет.

Горячий мрак, и бормотанье
вполголоса. И только раз
до корня вздрагивает зданье,
и кто-то шепотом: «Не в нас».

И вдруг неясно голубой
квадрат в углу, на месте двери:
«Тревога кончилась. Отбой!»
Мы голосу не сразу верим.

Но лестница выводит в сад,
а сад омыт зеленым светом,
и пахнет резедой и летом,
как до войны, как год назад.

Идут на дно аэростаты,
покачиваясь в синеве.
И шумно ссорятся ребята,
ища осколки по примятой,
белесой утренней траве.

Кукла

Много нынче в памяти потухло,
а живет безделица, пустяк:
девочкой потерянная кукла
на железных скрещенных путях.

Над платформой пар от паровозов
низко плыл, в равнину уходя...
Теплый дождь шушукался в березах,
но никто не замечал дождя.

Эшелоны шли тогда к востоку,
молча шли, без света и воды,
полные внезапной и жестокой,
горькой человеческой беды.

Девочка кричала и просила
и рвалась из материнских рук, —
показалась ей такой красивой
и желанной эта кукла вдруг.

Но никто не подал ей игрушки,
и толпа, к посадке торопясь,
куклу затоптала у теплушки
в жидкую струящуюся грязь.

Маленькая смерти не поверит,
и разлуки не поймет она...
Так хоть этой крохотной потерей
дотянулась до нее война.

Некуда от странной мысли деться:
это не игрушка, не пустяк, —
это, может быть, обломок детства
на железных скрещенных путях.

В Кудинове

Небо чисто, зелено и строго.
В закопченном тающем снегу
танками изрытая дорога
медленно свивается в дугу.

Где-то на лиловом горизонте
низкий дом, запорошенный сад...
Ты подумай только: как о фронте,
о деревне этой говорят, —

где в то лето солнечные слитки
падали в смолистый полумрак,
где у сделанной тобой калитки
как-то утром распустился мак.

Где ночами, за белесой пряжей,
ухала унылая сова,
где у маленькой девчурки нашей
складывались первые слова.

Как душе ни трудно и ни тяжело,
все равно забыть я не могу
шелковую мокрую ромашку,
девочку на солнечном лугу.

Как теперь там странно, незнакомо,
каждый куст на прежний не похож,
как, наверное, страшна у дома
пулемета бешеная дрожь.

Как, наверное, угрюм и мрачен,
слыша дальний, все растущий вой,
у калитки старой нашей дачи,
стиснув зубы, ходит часовой.

Яблоки

Ю. Р.

Ты яблоки привез на самолете
из Самарканда лютою зимой,
холодными, иззябшими в полете
мы принесли их вечером домой.

Нет, не домой. Наш дом был так далеко,
что я в него не верила сама.
А здесь цвела на стеклах синих окон
косматая сибирская зима.

Как на друзей забытых, я глядела
на яблоки, склоняясь над столом,
и трогала упругое их тело,
пронизанное светом и теплом.

И целовала шелковую кожу,
и свежий запах медленно пила.
Их желтизна, казалось мне, похожа
на солнечные зайчики была.

В ту ночь мне снилось: я живу у моря.
Над морем зной. На свете нет войны.
И сад шумит. И шуму сада вторит
ленивое шуршание волны.

Я видела осеннюю прогулку,
сырой асфальт и листья без числа.
Я шла родным московским переулком
и яблоки такие же несла.

Потом с рассветом ворвались заботы.
В углах синел и колыхался чад...
Топили печь... И в коридоре кто-то
сказал: «По Реомюру – пятьдесят».

Но как порою надо нам немного:
среди разлук, тревоги и невзгод
мне легче сделал трудную дорогу
осколок солнца, заключенный в плод.

Ночь (Зима 1942 г.)

Смеясь и шуря сморщенные веки,
седой старик немыслимо давно
нам подавал хрустящие чуреки
и молодое мутное вино.

Мы пили все из одного стакана
в пронзительно холодном погребке,
и влага, пенясь через край, стекала
и на землю струилась по руке.

Мы шли домой, когда уже стемнело
и свежей мглой потянуло с гор.
И встал до неба полукругом белым
морскою солью пахнувший простор.

От звезд текли серебряные нити,
и на изгибе медленной волны
дрожал блестящим столбиком Юпитер,
как отражение крохотной луны.

А мы купались... И вода светилась...
И вспыхивало пламя под ногой...
А ночь была как музыка, как милость —
торжественной, сияющей, нагой.

.....

Зачем я нынче вспомнила про это?
Здесь только вспышки гаснущей свечи,
и темный дом, трясущийся от ветра,
и вышек стук в нетопленной печи.

Проклятый стук, назойливый, как Морзе!
Тире и точки... точки и тире...
Окно во льду, и ночь к стеклу примерзла,
и сердце тоже в ледяной коре.

Еще темней. Свеча почти погасла.
И над огарком синеватый чад.
А воткнут он в бутылку из-под масла
с наклейкой рваной — «Розовый мускат».

Как трудно мне поверить, что когда-то
сюда вино звенящее текло,

что знало зной и пенные раскаты
замасленное, мутное стекло!

Наверно, так, взглянув теперь в глаза мне,
хотел бы ты и все-таки не смог
увидеть снова девочку на камне
в лучах и пене с головы до ног.

Но я все та же, та же, что бывало...
Пройдет война, и кончится зима.
И если бы я этого не знала,
давно бы ночь свела меня с ума.

* * *

Словно засыпающий ребенок,
бормотал невнятное родник.
И казался трогательно тонок
полумесяц, вышедший на миг.

Помнится неловкое объятие
у приволжских шелковистых ив,
и как долго не могла понять я,
отчего со мной ты молчалив.

.....

Как невесел месяц на ущербе,
как поля озябшие пусты,
как мертвы на постаревшей вербе
свернутые в трубочку листья!

Мы с тобою тоже постарели:
каждому дорога нелегка...
От шершавого сукна шинели
разгорелась у меня щека.

Но спроси, и я тебе отвечу,
что за встречу, посланную нам,
за подаренный судьбою вечер
я любую молодость отдам.

* * *

Ты ложишься непривычно рано.
Прихожу, а комната темна.
Верно, спишь – я спрашивать не стану.
Света нет. И печка холодна.

Знаю, стосковалась ты по доме
долгою сибирскою зимой.
Взять тебя бы в теплые ладони,
отнести бы сонную домой.

Чтобы утром, как не расставались, —
круглый столик, снимок на стене...
Все, как раньше, все – любая малость,
издали любимая вдвойне.

Чтобы, воду зажигая в кружке,
ластясь у знакомого плеча,
пролегли от окон до подушки
два косых смеющихся луча.

Чтобы ты, глаза от света жмуря,
озадаченная тишиной,
поняла, что отгремела буря,
что прошла, не тронув, стороной.

За тебя, за твой беспечный вечер,
за покой усталого лица
всю бы тяжесть я взяла на плечи
и дошла бы с нею до конца.

За окном морозного тумана
мутная глухая пелена.
Я тебя обманывать не стану:
продолжается война.

Дорога

До города двенадцать километров.
Шоссе как вымерло – ни человека...
Иду одна, оглохшая от ветра,
перехожу взлохмаченную реку.
Мы на реке с тобой бывали вместе,
когда-то шли по этой вот дороге...
Как увязают в чавкающем тесте
усталые по непривычке ноги.
Как больно хлещут ледяные плети,
какой пронзительный, угрюмый вечер,
и ни огня на целом божьем свете,
и от мешка оцепенели плечи.
В нем розовая крупная картошка,
пронизанная сыростью осенней.
Приду и стукну в крайнее окошко,
и мать с огарком отопрет мне сени.
Огонь заплещет, загудит в железке,
вода забулькает. А я раскрою дверцу
и сяду возле. И при жарком блеске
письмом вчерашним отопрею сердце.

И долгий путь сквозь мокрое ненастье
осенней ночью – хриплой и бездомной
мне кажется ничтожно малой частью
одной дороги – общей и огромной.

Разлука

I

В руке сжимая влажные монеты,
я слушаю с бессмысленной тоской,
как в темноте, в слепом пространстве где-то,
звонок смеется в комнате пустой.

Я опоздала. Ты ушел из дома.
А я стою – мне некуда идти.
На ветровой простор аэродрома
в такую ночь не отыскать пути.

И я шепчу сквозь слезы: «До свиданья!
Счастливый путь, любимый человек!»
Ничтожная минута опоздания
мне кажется разлукою навек.

II

Утром на пути в аэропорт
улицы просторны и пусты.
Горизонт туманом полустерт,
розовеют почками кусты.
Вся в росе, младенчески мягка
вдоль шоссе топорщится трава.
В сердце с ночи забралась тоска —
каждая разлука такова.
На перроне – голубой забор,
тени бродят, на песке скользя...
Дальше – ветер, солнце и простор.
Дальше провожающим нельзя.
В облаках, стихая, как струна,
«Дуглас» чертит плавный полукруг.
Радость встреч была бы не полна
без щемящей горечи разлук.
За разлукой есть далекий час.
Как мы станем ждать его с тобой!..
Он всегда приходит в первый раз,
заново подаренный судьбой.

Осень

Нынче улетели журавли
на заре промозглой и туманной.
Долго, долго затихал вдали
разговор печальный и гортанный.

С коренастых вымокших берез
тусклая стекала позолота;
горизонт был ровен и белес,
словно с неба краски вытер кто-то.

Тихий дождь сочился без конца
из пространства этого пустого...
Мне припомнился рассказ отца
о лесах и топиях Августова.

Ничего не слышно о тебе.
Может быть, письмо в пути пропало,
может быть... Но думать о беде —
я на это не имею права.

Нынче улетели журавли...
Очень горько провожать их было.
Снова осень. Три уже прошли...
Я теплее девочку укрыла.

До костей пронизывала дрожь,
в щели окон заползала сырость...
Ты придешь, конечно, ты придешь
в этот дом, где наш ребенок вырос.

И о том, что было на войне,
о своем житье-бытье солдата
ты расскажешь дочери, как мне
мой отец рассказывал когда-то.

Мать

Года прошли,
а помню, как теперь,
фанерой заколоченную дверь,
написанную мелом цифру «шесть»,
светильника замасленную жечь,
колышет пламя снежная струя,
солдат в бреду...
И возле койки – я.
И рядом смерть.

Мне трудно вспоминать,
но не могу не вспоминать о нем...
В Москве, на Бронной, у солдата – мать...
Я знаю их шестиэтажный дом,
московский дом...
На кухне примуса,
похожий на ущелье коридор,
горластый репродуктор,
вечный спор
на лестнице... ребячьи голоса...
Вбегал он, раскрасневшийся, в снегу,
пальто расстегивая на бегу,
бросал на стол с размаху связку книг —
вернувшийся из школы ученик.

Вот он лежит: не мальчик, а солдат,
какие тени темные у скул,
как будто умер он, а не уснул,
московский школьник... раненый солдат.
Он жить не будет.
Так сказал хирург.
Но нам нельзя не верить в чудеса,
и я отогреваю пальцы рук...
Минута... десять... двадцать... полчаса...
Снимаю одеяло – как легка
исколотая шприцами рука.
За эту ночь уже который раз
я жизнь держу на острие иглы.
Колючий иней выбелил углы,
часы внизу отбили пятый час...
О, как мне ненавистен с той поры
холодноватый запах камфары!
Со впалых щек сбегает синева,
он говорит невнятные слова,
срывает марлю в спекшейся крови...
Вот так. Еще. Не уступай! Живи!

...Он умер к утру, твой хороший сын,
твоя надежда и твоя любовь...
Зазолотилась под лучом косым
суровая мальчишеская бровь,
и я таким увидела его,
каким он был на Киевском, когда
в последний раз,
печальна и горда,
ты обняла ребенка своего.

.....

В осеннем сквере палевый песок
и ржавый лист на тишине воды...
Все те же Патриаршие пруды,
шестизэтажный дом наискосок,
и снова дети роются в песке...
И, может быть, мы рядом на скамью
с тобой садимся.
Я не узнаю
ни добрых глаз, ни жилки на виске.
Да и тебе, конечно, невдомек,
что это я заплакала над ним,
над одиноким мальчиком твоим,
когда он уходил.
Что одинок
тогда он не был...
Что твоя тоска
мне больше,
чем кому-нибудь, близка...

Хирург

Н. Л. Чистякову

Порой он был ворчливым оттого,
что полшага до старости осталось.
Что, верно, часто мучила его
нелегкая военная усталость.

Но молодой и беспокойный жар
его хранил от мыслей одиноких —
он столько жизней бережно держал
в своих ладонях, умных и широких.

И не один, на белый стол ложась,
когда терпеть и покоряться надо,
узнал почти божественную власть
спокойных рук и греющего взгляда.

Вдыхал эфир, слабел и, наконец,
спеша в лицо неясное вглядеться,
припоминал, что, кажется, отец
смотрел вот так когда-то в раннем детстве.

А тот и в самом деле был отцом
и не однажды с жадностью бессонной
искал и ждал похожего лицом
в молочном свете операционной.

Своей тоски ничем не выдал он,
никто не знает, как случилось это, —
в какое утро был он извещен
о смерти сына под Одессой где-то...

Не в то ли утро, с ветром и пургой,
когда, немного бледный и усталый,
он паренька с раздробленной ногой
сынком назвал, совсем не по уставу.

Письмо

Хмуро встретили меня в палате.
Оплавала на столе свеча.
Человек метался на кровати,
что-то исступленное крича.

Я из стиснутой руки солдата
осторожно вынула сама
неприглядный, серый и помятый
листик деревенского письма.

Там, в письме, рукою неумелой
по-печатному писала мать,
что жива, а хата погорела
и вестей от брата не слышать.

Что немало горя повидали,
что невздам не было конца,
что жену с ребенком расстреляли,
уходя, у самого крыльца.

Побледневший, тихий и суровый
в голубые мартовские дни
он ушел в своей шинели новой,
затянув скрипучие ремни.

В коридоре хрустнул пол дощатый,
дверь внизу захлопнулась, звеня.
Человек, не знающий пощады,
шел вперед, на линию огня.

Шел он, плечи крепкие сутуля,
нес он ношу – ненависть свою.
Только бы его шальная пуля
не задела где-нибудь в бою...

Только не рванулась бы граната,
бомба не провыла на пути,
потому что ненависть солдату
нужно до Берлина донести!

* * *

Летел сквозь бурю лунный круг,
и ветер тучи рвал.
Письмо мне передал твой друг
проездом на Урал.

Спеша, конверт, промокший весь,
я тут же сорвала.
И не могла письма прочесть —
такая тьма была.

И только свет, неверный свет
октябрьской луны
упал на маленький портрет
с летящей вышины.

И поняла я по чертам
неясного лица,
что ты, конечно, будешь там
до самого конца.

И пожалела об одном:
что разный путь у нас,
что я не в городе родном
в такой тяжелый час.

* * *

В оцепененье стоя у порога,
я слушаю с бессмысленной тоской,
как завывает первая тревога
над черною, затихшею Москвой.
Глухой удар,
бледнеющие лица,
колючий звон разбитого стекла,
но детский сон сомкнул твои ресницы.
Как хорошо, что ты еще мала...

Десятый день мы тащимся в теплушке,
в степи висит малиновая мгла,
в твоих руках огрызок старой сушки.
Как хорошо, что ты еще мала...

Четвертый год отец твой не был дома,
опять зима идет, белым-бела,
а ты смеешься снегу молодому.
Как хорошо, что ты еще мала...

И вот – весна.
И вот – начало мая.
И вот – конец!
Я обнимаю дочь.

Взгляни в окошко,
девочка родная!
Какая ночь!
Смотри, какая ночь!

Текут лучи, как будто в небе где-то
победная дорога пролегла.
Тебе ж видны одни потоки света...
Как жалко мне, что ты еще мала!

* * *

Спокойный вечер пасмурен и мглист.
Не слышно птиц среди древесных кружев.
Пустынна улица. Последний ржавый лист
в морозном воздухе легчайший ветер кружит.

Любимая осенняя пора.
На облаках – сиреневые блики,
на светлых лужицах каемка серебра,
и над землей – покой, безмерный и великий.

Как лживо все: и эта тишина,
и мягкий полог облачных волокон...
Как пристально в глаза людей война
глядит пустыми впадинами окон.

Стихи о дочери

Наташе

I

Душная, безлунная
наступила ночь.
Все о сыне думала,
а сказали: «Дочь».

Хорошо мечтается
в белизне палат...
Голубые лампочки
у дверей горят.

Ветер стукнул форточкой,
кисею струя.
Здравствуй, милый сверточек,
доченька моя!

Все такое синее,
на столе – цветы.
Думала о сыне я,
а родилась – ты.

Ты прости, непрошенный
ежик сонный мой.
Я тебя, хорошую,
отвезу домой.

Для тебя на коврике
вышита коза,
у тебя, наверное,
синие глаза...

Ну... а если серые —
маме все равно.

.....

Утро твое первое
смотрится в окно.

II

Мне с каждым днем милее ты:
Все тверже взгляд, все звонче лепет.
Как будто новые черты
Рука невидимая лепит.

Ночник... И тени на стене...
Мне часто по ночам не спится,
Вот шевельнулись в полусне
Твои спокойные ресницы.

Ты просыпаешься. И где б
я ни была, зовешь в испуге.
И пух волос твоих нелеп,
как у нахохленной пичуги.

И так похожи на цветы
румянец щек, и мягкость лапок,
и пухлость губ, и милый запах
ребячьей сонной теплоты.

III

Ты счета не ведешь годам,
встречая только третье лето.
Твоих мгновений череда
туманом солнечным одета.

Уколы маленьких обид
тебя еще не могут ранить,
и огорчений не хранит
твоя ребяческая память.

И, милой резвости полна, —
как знать ребенку тяжесть ноши? —
ты слово новое – «война» —
лепечешь, хлопая в ладоши.

IV

Вагон бросало и качало.
Молчали все. А вечер гас.

И каждый знал: еще начало,
еще неясный первый час.

Казалось мне: за далью алой
гремят грядущие бои...
Но как бессильно я сжимала
ручонки пыльные твои!

А после ночь. Без искры света
свершался необычный путь.
Скажи, ответь – ты помнишь это?
И если помнишь – позабуди.

Живи, цветам и песням рада,
смеясь, горюя и любя,
а помнить этого не надо:
я буду помнить за тебя.

V

Тревога. Грусть. Приходит почтальон —
ни весточки о милом человеке...
А городок метелью занесен
до самых крыш. И, кажется, навеки.

Наш новый дом в сугробах под горой,
к нему бежит петлистая дорожка,
в нем есть окно за ледяной корой,
печурка есть, горячая картошка.

Есть девочка. Зеленые глаза,
лукавый рот и бантик цвета мака.
Есть девочка. При ней нельзя заплакать,
при ней нельзя о горьком рассказать.

Она поймет. С недетской теплотой
ладошки мягкие ко мне на плечи лягут...
Нельзя при ней, при маленькой такой, —
ей рано знать печаль житейских тягот.

Я напишу ей буквы на листе,
я нарисую зайчика в тетради.
Я засмеюсь – ее улыбки ради.
Я буду плакать после, в темноте...

VI

Суровый год. В траве чернеют щели,
но дни июня ветрено свежи.
Опять шумят разлапистые ели,
и чертят небо легкие стрижи.

Орлы сидят за ржавою решеткой,
полуприкрыв окаменелый взгляд.
Кричит павлин, барсук ютится кроткий
среди смешных мохнатых медвежат.

Иду с тобой по парку не спеша я,
над нами листьев солнечная дрожь..
Когда-нибудь ты вырастешь большая
и эти строки снова перечтешь.

Как взмах крыла, как искра в синем дыме,
они опять пересекут твой путь.
Они тебе покажутся простыми,
далекими, наивными чуть-чуть.

И все-таки ты радостно и мило
лукавый свой на миг потупишь взгляд, —
совсем как та, которая ходила
по воскресеньям с мамой в зоосад.

VII

А круг все ширится. В него вовлечены
природа, люди, города и войны.

Теперь ей книжки пестрые нужны,
упав, она не говорит, что больно.

Не любит слово скучное «нельзя»,
все льнет ко мне, работать мне мешая.
Как выросла! Совсем, совсем большая,
мы с ней теперь хорошие друзья.

Она со мною слушает салюты,
передвигает красные флажки
и, Прут найдя на карте в полминуты,
обводит пальцем ниточку реки.

Понятлива, пытлива и упряма.
На многое ответы ей нужны.
Она меня спросила как-то: «Мама,
а было так, что не было войны?»

Да. Было так. И будет, будет снова.
Как хорошо тогда нам станет жить!
Ты первое услышанное слово
еще успеешь в жизни позабыть.

Салют

Мы час назад не думали о смерти.
Мы только что узнали: он убит.
В измятом, наспех порванном конверте
на стуле извещение лежит.

Мы плакали. Потом молчали обе.
Хлестало в стекла дождиком косым...
По-взрослому нахмутив круглый лобик,
притих ее четырехлетний сын.

Потом стемнело. И внезапно, круто
ракетами врезаясь в вышину,
волна артиллерийского салюта
тяжелую качнула тишину.

Мне показалось, будет очень трудно
сквозь эту боль и слезы видеть ей
цветенье желтых, красных, изумрудных
над городом ликующих огней.

Но только я хотела синей шторой
закрыть огни и море светлых крыш,
мне женщина промолвила с укором:
«Зачем? Пускай любитесь малыш».

И, помолчав, добавила устало,
почти уйдя в густеющую тьму:
«...Мне это все еще дороже стало —
ведь это будто памятник ему».

Беженец

Он из теплушки на траву горячую
по-стариковски спрыгнул тяжело.
В косых лучах столбы вдали маячили,
и все в степи жужжало и цвело.

Внезапная прохлада наплывала,
вода журчала в чаше ивняка,
и эту воду пили у привала
и брали в чайник вместо кипятка.

Старик лежал, глазами безучастными
следа за колыханьем колоска.
Десятками травинок опоясанный,
зеленый мир качался у виска.

Июльский воздух, раскаленный, зримый,
над степью тек. Старик лежал на дне.
Все, не касаясь, проходило мимо.
Он жил все там – в своем последнем дне.

Такое же вот солнце заходящее,
бормочущего сада забытье,
мычанье стада и в кустах блестящее
днестровское тяжелое литье.

От памяти нам никуда не деться,
не выжечь в мыслях прошлого огнем,
но если лучше в прошлое взглядеться,
увидеть можно будущее в нем.

Городок

Не прозвучит ни слово, ни гудок
в развалинах, задохшихся от дыма.
Лежит убитый русский городок,
и кажется – ничто непоправимо.

Еще в тревожном зареве закат
и различимы голоса орудий,
а в городок уже приходят люди.
Из горсти пьют, на дне воронки спят.

И снова дым. Но дым уже другой —
теперь он пахнет теплотой и пищей.
И первый сруб, как первый лист тугой,
из черного выходит корневища.

И медленная светлая смола,
как слезы встречи, катится по стенам.
И верят люди: жизнь благословенна,
как бы она сурова ни была!

В лесу

Навстречу сосны. Нет конца им...
День ярче, выше, горячей,
но хвойный кров непроницаем
для ливня солнечных лучей.

Лишь кое-где во мраке вкраплен
как будто золота кусок.
И с веток солнечные капли
сочатся в розовый песок.

В лесу торжественно и тихо...
Но я не слышу тишины, —
еще не умер отзвук дикой,
железной музыки войны.

И с молодой березкой рядом,
ее шуршанием одет,
стоит расщепленный снарядом
сосны обугленный скелет.

Птица

Бои ушли. Завесой плотной
плывут туманы вслед врагам,
и снега чистые полотна
расстелены по берегам.

И слышно: птица птицу кличет,
тревожа утреннюю стынь.
И бесприютен голос птичий
среди обугленных пустынь.

Он бьется, жалобный и тонкий,
о синеву речного льда,
как будто мать зовет ребенка,
потерянного навсегда.

Кружит он в скованном просторе,
звения немислимой тоской,
как будто человечье горе
осталось плакать над рекой.

Костер

Чахлый лес, сквозной, багряно-рыжий,
заткан солнцем вдоль и поперек.
Как сейчас я этот полдень вижу,
красный от брусники бугорок.

Корчится атласная берёста
на почти невидимом костре.
Мне с тобою весело и просто,
как девчонке, школьнице, сестре.

Наверху негреющая просинь,
зябких листьев вековечный спор.
Мы придем на будущую осень
в эту рощу разложить костер.

А на осень бушевала буря.
Ты вернулся без меня, один.
Потерялся в непривычном гуле
лепет перепуганных осин.

И в шинели серой, с автоматом
у березовых атласных ног
ты прилег за круглый и примятый
красный от брусники бугорок.

И пошли, пошли пути-дороги
колесить на тысячи ладов.
И стоишь теперь ты на пороге
незнакомых прусских городов.

Верно, скоро выйдет срок разлуке.
И, придя в знакомые места,
отогреем мы сердца и руки
у родного русского костра.

Домой

Сквозь дрему глухую, предутренний сон
я чувствую: поезд идет под уклон.
Прильнула к окну шелестящая муть,
легчайшим изгибом свивается путь.

И в свете февральских расплывчатых звезд
в двенадцать пролетов над Волгою мост.

В мерцанье рассвета уходит река.
Лесами скользит эшелона змея.
На запад, на запад, где дремлет Москва,
где в облаке сизом – родная моя.

Я завтра увижу покинутый дом,
я завтра приду к дорогому крыльцу —
приду и немного помедлю на нем,
дорожный платок прижимая к лицу.

Я вспомню о щелях в садовой тени,
о вое тревог по ночам и о том,
как мы в беспокойные первые дни
полоски на стекла клеили крестом.

И самое горькое вспомнится мне:
взволнованный, людный вечерний вокзал,
и небо в щемящем закатном огне,
и что мне любимый, целуя, сказал.

Мне этого часа вовек не забыть.
Да разве мы прежде умели любить?
Да разве мы знали, что значит война,
как будет разлука горька и длинна?

...На запад скользит эшелона змея,
все ближе мой город, отчизна моя!

* * *

Вот и город. Первая застава.
Первые трамваи на кругу.
Очень я, наверное, устала,
если улыбнуться не могу.

Вот и дом. Но смотрят незнакомо
стены за порогом дорогим.
Если сердце не узнало дома,
значит, сердце сделалось другим.

Значит, в сердце зажилась тревога,
значит, сердце одолела грусть.
Милый город, подожди немного, —
я смеяться снова научусь.

* * *

Сколько милых ровесников
в братских могилах лежит.
Узловатая липа
родительский сон сторожит.
Все беднее теперь я,
бесплотнее день ото дня,
с каждой новой потерей
все меньше на свете меня.
Черноглазый ребенок...
Давно его, глупого, нет.
Вместо худенькой девушки —
плоский бумажный портрет.
Вместо женщины юной
осталась усталая мать.
Надлежит ей исчезнуть...
Но я не хочу исчезать!
Льются годы рекою,
сто обличий моих хороня,
только с каждой строкою
все больше на свете меня.
Оттого все страшнее мне
браться теперь за перо,
оттого все нужнее
разобраться, где зло, где добро.
Оттого все труднее
бросать на бумагу слова:
вот, мол, люди, любуйтесь,
глядите, мол, я какова!
Чем смогу заплатить я
за эту прекрасную власть,
за высокое право
в дома заходить не стучась?
Что могу?
Что должна я?
Сама до конца не пойму...
Только мне не солгать бы
ни в чем,
никогда,
никому!

Станция Баладжары

Степь, растрескавшаяся от жара,
не успевшая расцвести...
Снова станция Баладжары,
перепутанные пути.
Бродят степью седые козы,
в небе медленных туч гурты...
Запыхавшиеся паровозы
под струю подставляют рты.
Между шпалами лужи нефти
с отраженьями облаков...
Нам опять разминуться негде
с горьким ветром солончаков.
Лязг железа, одышка пара,
гор лысеющие горбы...
Снова станция Баладжары
на дороге моей судьбы.
Жизнь чужая, чужие лица...
Я на станции не сойду.
Улыбается проводница:
– Поглядите, мой дом в саду! —
В двух шагах низкорослый домик,
в стеклах красный, как медь, закат,
пропыленный насквозь тутовник...

(А она говорила – сад.)
Но унылое это место,
где ни кустика нет вокруг,
я глазами чужого детства
в этот миг увидала вдруг,
взглядом девушки полюбившей,
сердцем женщины пожилой...
И тутовник над плоской крышей
ожил, как от воды живой.

Прибой

У сутулых камней качало
незнакомый глубинный груз:
рыжих водорослей мочалу,
голубое желе медуз.

А на смуглой ворчащей гальке,
в яркой пене, бегущей вниз,
оставались стекляшки, гайки
и десятки патронных гильз.

И ребенок в белой панамке,
торопясь, хватал из воды
то ли камушки, то ль останки
похороненной здесь беды.

Бессонница

Кряхтели рамы, стекла звякали,
и все казалось мне:

вот-вот

уснувший дом сорвется с якоря
и в ночь, ныряя, поплывет.
Луна катилась между тучами,
опутанная волокном,
как мачта,

дерево скрипучее
раскачивалось под окном.
Давным-давно легли хозяева,
огонь погас.

А сна все нет.

И заманить ничем нельзя его.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.